

К 782.В.К.

А. КРАСНОЩ КОСЬКИН ДЕНЬ



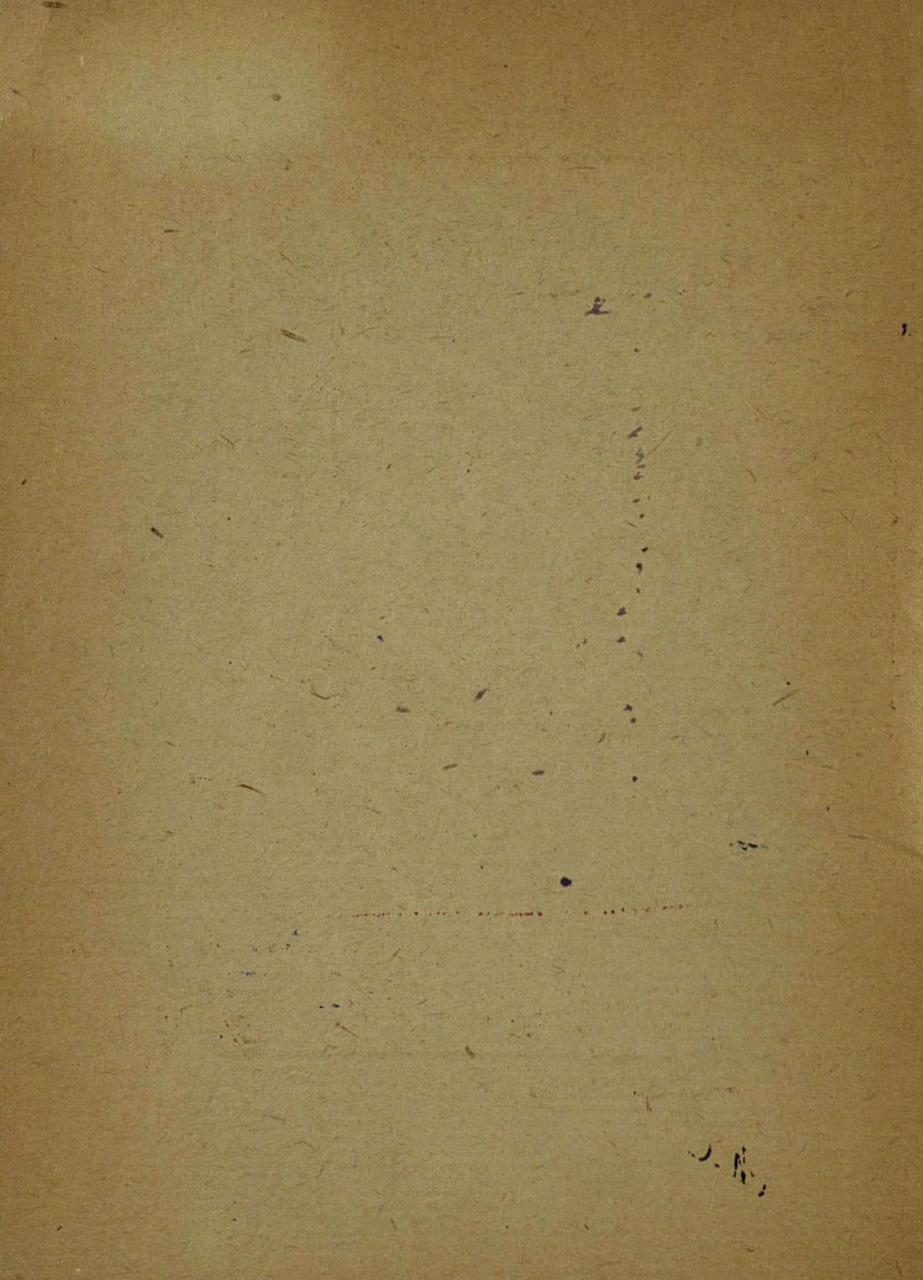
47233-

100



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 2 6



К-782

НОВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

В. КРАСНОЩЕКОВ

КОСЬКИН ДЕНЬ

РАССКАЗЫ

РИСУНКИ
Д. МЕЛЬНИКОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

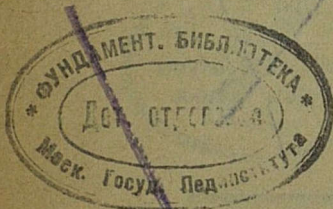
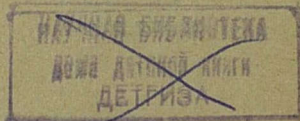
Б
К. 782 в.к.

КАТАЛОГ

1951

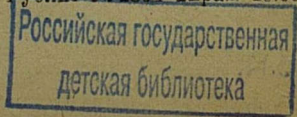
1957-58 г.

Типография
КОМИНТЕРН.
Центрального Изд-ства
Народов СССР.
Ленинград,
Екатерингофский, 87.



672513 Кх-рег

Гиз № 15190 Ленинградский Гублит № 2804 Тираж 10.000 3 л.



КОСЬКИН ДЕНЬ

1

У Кости с вечера начался праздник. Когда перочинным ножом отчищал замазку с подоконника, взглянул на весеннее глубокое небо, на робкую зелень в саду, — сразу почувствовал: надвигается что-то большое и радостное.

— Лидка, лезь сюда! — крикнул товарке по звену Коська с высокого подоконника. — Брось с книгой сидеть. Эх, и хорошо же здесь на окне! Неба-то, неба-то сколько лохматого! Лезь.

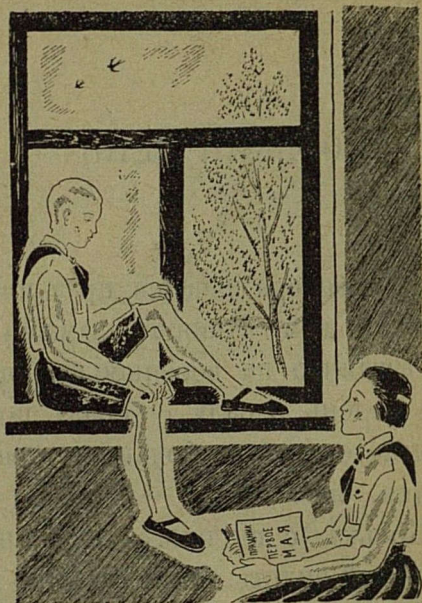
Лидка на год старше Кости, серьезнее. Подняла на него большие, светлые глаза:

— Дурак ты, Коська! Посмотри на себя, — весь в замазке вымазался.

Посмотрел Коська на штаны, — диву дался.

— Ну, и отделал! Трепку мать теперь задаст.

Хотел очиститься, хуже мажется. А Лидка опять в книгу нос сунула.



— Лидка, брось. Подумаешь, какая умная! А то замазкой запущу.

— И опять дурак ты, Коська! Что ж, одни умные читают-то? Пионер тоже! Завтра, вот, первое мая, а не знаешь, небось, как следует, что это за праздник.

— Молчала бы уж! Сама-то знаешь. На-читалася.

— Я-то знаю, а вот ты не знаешь.

— Ну, скажи!

— Ты прочти вот лучше.

— А сама не знаешь?

— Знаю, а прочтешь вот, лучше будет. Все не расскажешь.

— Большая, небось, книжка-то?

— Большая!.. Испугался уж... Третье-классник тоже!..

— Ну-ка? У-у! я такую-то в пять минут прочту. Я еще не такие читал. Робинзона Крузу... Ты где взяла-то? У Ванюшки жожа-того такая же.

— Нет, у нас в библиотеке.

— В клубе? А я думал, там только для больших. Мне дашь?

— Возьми. Завтра принеси только.

— Ладно.

Шел вечером из клуба по опустевшим улицам, когда мостовые, уставшие за день, бредили натруженным гудом. Вдыхал свежий апрельский ветер, веявший уже ласковым маем, а в голове беспокойно разъерзались мысли:

„Скорей бы завтра. Что-то будет завтра“? Домой пришел, когда мать, уложив вымытую посуду на полку в кухне, укладывалась спать.

— Устали нет на тебя, шатун полуношный. Все по клубам своим гоняешь. Покою нету от тебя.

Как взглянула на штаны,— руками всплеснула, заохала:

— Батюшки вы мои! Отделал-то как. Где ж тебя, лешего, носило? Изгваздался-то весь.

— Эх, ну, и жизнь! — думал Коська, стараясь подальше уйти от наступавшей на него матери, — отстирать нельзя, штось! И штаны-то старые.

— Вот и шлюндай завтра в грязных. Пусть на тебя пальцем, архаровца, тычут.

Потом, чуть смилостивилась, достала из печки щей, на стол рывком поставила.

— Ешь!

Поел Коська, — уверенность в животе почувствовал, — не так страшно матери. А ко сну клонило.

Спал Коська на пригромоздке из стульев у низенькой, хлипкой материной кровати.

Хорошо раскинулось тело на жестком ложе, сразу по телу ласковый зуд пошел, отяжелели липкие веки. Мысли обрывками — чуточку там, чуточку здесь выплывут:

„Завтра... Что-то будет завтра“...

Кинул сквозь дрему языком неловким:

— Мам, на демонстрацию-то завтра пойдешь?

И донеслось издалека неясно, урывчато:

— Пойдешь... Сократят вот... жрать-то нечего... Пойдешь...

2

Утром в заласканной дреме беспокойно разметался. Кто-то щеку теплым дыханьем нагрел, и веки в розовом тумане потонули. Продремал бы Коська, да жильцы за стенкой зашумели. Встрепенулся, — сердце от радости прыгнуло: вся-то комната в солнечном потоке потонула. В девять сбор — не опоздать бы! Заспешил, штаны надвинул (а штаны на солнце пятном будничным), галстух захлеснул, — готово!

На пороге мать. Столкнулись.

— Што так рано-то! Гонять по улицам, — с петухами рад, а за делом не добудишься.

— Я на сбор. Сегодня в девять. На Красную площадь пойдем.

— Не жравши целый день. Возьми хоть хлеба-то.

Ворчала и ругалась, а в желтый пакет из-под муки горячих пирогов из печки наложила.

Жизнь!

С Лидкой в звене бок о бок стоял. На Лидке юбка синяя вся в складочках, чистая, выглаженная. А у Коськи — мятые штаны, в замазке и колени голые в царапинах.

Лидка первая, как увидела его, крикнула:

— Ребята, стекольщик идет!

Совсем засмеяли, одергали Коську, — насилиу вожатый уgomонил:

— Бросьте! Октябрюта и то лучше вас.

Коське сперва было обидно. Отругаться хотел, — слов хлестких не нашел. Потом окрестил всех „несознательными“ и успокоился. В колонне первым с Лидкой вышагивал под барабанную дробь и голосом задорным и звонким выводил забористо:

Лейся, леснь моя-а-а
пионерская-а-а...



И когда в улицах, запруженных веселыми лицами и сочными знаменами, получался затор и смешение рядов, кто-нибудь кидал Коське от избытка нахлынувших чувств:

— Стекольщик!

Коська не обижался, а строил заячью рожицу или лягался. А когда подошли к Красной площади, сразу на сердце улеглась большая торжественность, а по рядам сосредоточенная тишина. Глаза к мавзолею, а сердце выстукивает: „Ле-нин, Ле-нин“, и мягким прибоем грудь обдает. У Коськи глаза даже влажно заблестели.

— Эх, партийным бы мне поскорей!

3

Сильно устал к вечеру, — земля от усталости гудит под ногами. Как пришел домой, ляпнулся на стул, — язык не повернешь. А мать уж дома с самоваром возится.

— Ишь ухайдакался! Было бы делом, а то!..

Коське лень говорить, с матерью переругиваться, а любопытство разбирает:

— А сама-то ходила зачем?

— Зачем! Заставляют — пойдешь! Не пойдешь — живо поди в сокращение впишут.

— Никто не впишет. Врешь ты!

— Не вру! Бабы говорили.

Коськины мысли ленивые, как караси в тине устало полтыхаются:

„На Воробьевку завтра утром. Всем отрядом... В казаки-разбойники сыграть бы надо... Лидке юбку глиной измазать. Чистюля, подумаешь... Стекольщик, тоже!.. Эх, в лагерь поскорей бы, на реку! Я ей звону покажу... Вот вожатым буду“, — размечтался Коська.

— Будешь чай-то пить? Иди. Проголодался ведь, умаялся.

Сел Коська за стол — на тарелке пироги румяные, как май, а под тарелкой Лидкина книжка яркой обложкой высунулась.

— Что ж ты на книжку-то ставишь! Видишь, примяла всю, иссалила.

Вспомнил Лидку — стыдно стало, хоть заплачь.

— Куды мне ее теперь! Отдавай сама! Лидкина книжка-то из библиотеки.

— Ну, что ей сделалось! Какая была, такая и есть. Расхныкался.

Поскулил минут пяток, да делать нечего.

„Оберну в бумажку, может не заметит. А заметит, скажу — такая и была“.

А как наелся пирогов за чаем, — горечь будто меньше стала, съежилась. С матерью разговор затеял.

— Эта книжка-то дорогая. Смотри — с картинками, и портреты в ней. Рубль стоит. Тут про май написано.

Мать за чаем отдохнула, раздобрела. Раз хлебнет, с носа каплю пота пятерней сотрет. Коська знает, — чай самый подходящий момент с матерью разговаривать.

— Ты думаешь для чего это май-то?

— Как для чего? Известно, праздник большевицкий!

— А для чего он?

— Ну, в роде как пасхи нашей.

— Вот, и не знаешь! — воодушевился Коська. — Слушай! „Май — праздник трудящихся“, — прочел заголовок на обложке. — Хочешь, почитаю?

— Куды там! Ноги отнялись за день-то. Прилечь бы.

— Да ты слушай! Интересно тут.

— Ну, читай. Привяжешься!.. — отмахнулась мать.

Коська читал медленно, но хорошо. Каждую букву отчеканивал старательно:



„Май между-народный праздник тру-трудящихся. В день первого мая рабочие всего мира...“

Долго читал Коська. Мать чулки штопала и изредка вздыхала. А когда язык от усталости ожеледел, стал заплетаться, поднял глаза на мать и взгляды встретились.

— Ай все?

— Нет еще! Скоро!

— Спать захотел? Дочитай уж!

По последней странице Коська ковылял, как хромой без костыля, и голова ниже плеч опустилась. Дочитал, лбом в книгу уперся, — так и уснул.

4

— Костя, какой ты чистенький!

Костя и сам смущен своим великолепным видом в отглаженных чистых штанах, а от Лидкиных глаз больших не укроешься.

Давно такой Костя в отряд не ходил. То пуговица в самом нужном месте отскочит, то разорвет на видном месте, — зажимать рукой приходится. А утром сегодня проснулся, — даже неловко как-то стало. Лежат на стуле штаны выглаженные, чистые, а рядом книжка

Лидкина тоже чистая, немтая, даже лучше, чем была. И мать спокойная и добрая. Трепыхнулось в груди чувство теплое, да не выдал, — сдержался.

— Как ты книжку отчистила?

Улыбнулась мать:

— Угадай-ка вот!

Как ни прикидывал Коська, — никак не выходит, — новую што ли купила? И купить-то негде — праздник.

— Ай, не угадал?

— Не знаю! — мотнул головой Коська.

— То-то!.. Я вот книжки не читала, а пятны выводить умею. Утюгом через тряпицу.

У Коськи от удивления глаза на выкате:

— Ловко! И не спалилась?

— Надо умеючи.

Умывался чисто, с мылом. В ушах пальцем ковырнул раза два.словно именинник.

— Я, мам, сегодня, на Воробьевку с отрядом!

— Ступай! — а в глазах непонятное что-то укрыла. Лишний раз чашку к нему пододвинула. А когда собрался уходить, в угол куда-то торопясь, неловко кинула:

— Книжку-то отдай!.. Не потеряй!.. Может еще какую принесешь?

Даже не понял сначала Коська. Не хотелось верить. Неловко. Радостным в сердце полыхнуло.

— Ладно, принесу!

Потолкался у порога, словно потерял что. Потом боком подошел к матери и быстро мазнул своими губами по ее губам и галопом выскочил на улицу. И теперь, глядя на Лидку, говорил:

— Тебе, штоль одной, чистой-то ходить!..

— Да ты опять в замазке измажешься.

— На-ка! я теперь больше сознательный.

— Подумаешь? Уж зафорсил! Книжку-то принес?

— На, вот!

— А прочел?

— А то как же! Это ты может для фасону-то читаешь. Я вот тоже скоро в библиотеку нашу запишусь. Может сегодня иль завтра.

— Вместе ходить будем! Ладно?

— Ладно! Ты, Лидка, выбери мне такую же книжку. Нам с матерью штоб почитать.

Это был первый самый большой праздник у Коськи.

10884
9554
45866

Х Р О М Ц О

1

У Федьки одна страсть — рисовать. Уж как это ты ни вертись, обязательно на свободном клочке бумаги рожу какую-нибудь выведет. Оттого-то раз и порку мать задала, — сколько денег на одни тетради извел. А разве утерпишь не нарисовать, когда целый лист белизной манит! Раз такую штуку на бумаге загнул, — ребята в классе даже рты поразинули.

— Ловко!

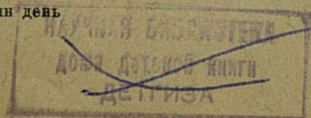
— Ай, да Хромцо!

— Смотрите-ка, как заяц от волка навинчивает!.. И язык на бок высунул.

— Клёво!

— Ну, и Федька!

2 Коськин день



— Лошадь валяй, нарисуй.

А Федька сидит красный от смущения за партой, изрезанной пареньками досужими, и силится рисунок подальше упрятать.

— Покажь, будет хвастать-то! — наседали на него.

Федька хромой, — правая нога дугой выгнулась и не сгибается. Весь класс так и окрестил его „Хромцо“, и, кому не лень, всякий измывается. И теперь, глядя на нарисованную Федкой картинку, затаил кто-то визгливо тонким голосом

Ай-да Федька хромой,
ай-да заяц косой...

И осекся. Складу нужного больше придумать не мог. Хотел подхватить второй раз, да другие голоса перебили.

— Это не он наверно.

— Съел откудова-нибудь.

— Крыть Федьку за это.

— Ребята, а может и он, — робко заметила Зина.

— На-ка, выкуси, — он! — показал ей Колька фигу.

— Конечно, сдул Федька!



— Сдул, сдул. Федька сдул! Э!.. э... э...

— Слямзил.

— Спер.

И не избежать бы Федьке пары добрых шлепков, еслиб не вошла учительница, Мария Васильевна. Как горох по партам рассыпались. Только красные измазанные лица, как вывеска, кричали о бурной перемене.

— Что у вас тут?

Замерло Федькино сердце:

— Неужто скажут? — и застыл, как струна в напряжении. Но тридцать человек молчали, поглядывали искоса на Федьку, бросали друг-другу шепотком быстрым:

— Не говори.

— Молчите.

— Ш... ш... ш...

Учительница выждала, обвела долгим взглядом класс и начала занятия.

— Опять над Кокуриным, Федей, небось измывались. После уроков обязательно узнать надо будет.

Сидит Федька на самой задней парте у печки, цветными изразцами выложенной, в дальнем полутемном углу, — закутке, как ребята прозвали его. А ему хорошо, здесь

подальше от окон и глаз за высокой партой думы свои вынашивать! Пробовала было Марья Васильевна ближе посадить, да уперся Федька, — каждый раз на старое место уходил. Так и махнула рукой:

— Пусть его прячется. Учится покамест хорошо.

И укрепился в закутке Федька. Все равно, что родной ему стал. Каждую трещинку в изразцах на память выучил. И теперь, когда испуг и обида еще не улеглись в груди, хорошо было подальше спрятаться.

— Ладно. Я еще и не так. Подумаешь!.. Загрозили чем. Возьму вот Ленина и нарисую. Только бы цветных карандашей достать. Свет тоже! Подумаешь!.. Портрет с журнала тети Лены срисую, а наверху красноармейскую звезду или солнце, как в клубе.

Так размышлялся, что и урок позабыл. Уж больно заманчива мысль показалась! Очнулся, когда звонок прозвенел, и чья-то записка по парте шуркнула. Оглянулся, — глаза Зинкины смеющиеся встретились.

„Чего-й-то она“, — затревожился Федька. Поднял записку, а в ней торопливые слова косо разбежались:

„Федя. Мальчишки дураки, и ты их не слушай. Мне заяц твой очень понравился, и я к тебе приду сегодня вечером. Задачи решать вместе будем. Только ты никому не говори.

Зина“.

Носом двинул Федька от удовольствия. Сразу почувствовал, как тесная дружба невидимыми нитями начала связывать их.

„Зинка хорошая! Как нарисую Ленина, — обязательно ей подарю“.

2

Живет Федька на самом конце рабочей слободки, где размашистый степной ветер зимами с особенной яростью треплет ветхие крыши и ставни. Весь поселок раскинулся хлипкими, потемневшими лачугами по склону небольшого холма в полуверсте от фабрики. Только одна школа на самом верху резко выделялась среди них каменной приземистойстройкой с большими, широкими окнами. Красные, еще новенькие кирпичи каждому говорили о недавней постройке, о славном двадцать первом годе, когда возродилась вновь

после длительной борьбы вместе с фабрикой новая школа. Издали и ее можно принять за корпус фабрики. Хорошая стройка, просторная!

В этот день домой шел Федька веселый и радостный. Весело поскрипывали валенки по крепко убитому снегу. Воздух звонкий, чуткий, как сталь, сторожит каждый звук, тонкой пластинкой звенит и вздрагивает. А кругом ширь-то, ширь-то степная какая! Вон у самого горизонта, куда тянется узкоколейка от красных корпусов, — тащится поезд. Дым из трубы паровоза, как голова коня при быстром беге запрокинулась.

Взбудораженный, радостный Федька домой шел!

Вспомнилось, как третьего дня тетя Лена пришла к ним домой и принесла с собой журнал „Работница“, а на обложке портрет Ильича.

— Митька, посмотри-ка — Ленин, — сказал Федька трехлетнему братишке.

Митька руками загреб его.

— Енин?

— Ну да, Ленин!

Видно сильно понравился Митьке журнал, — как начал трепать — только листы полетели. Бросился Федька спасать.

— Перестань, дурак! Тете Лене скажу. Здесь ведь Ленин. Измял-то всего!

Взревел Митька, как поросенок пойманный:

— Отдай... мой... мой... Не Енин... мой...

И смеху-то что было тут! Мать, на что уж скупая на ласки у них, и то рассмеялась и Митьку целовала.

Обложка и теперь у кровати висит.

Совсем уж было Федька к дому подошел, — с бугорка видно, как в самом конце у замерзшего ручья ихняя хибарка притулилася. Повернул за угол и... в самую щеку снежком угодили. Потемнело в глазах от неожиданности и боли. Оглянулся — еще!

Колька Шилкин стоял в подворотне. Видно, ждал, — целый ворох снежков наготовил.

— Вот тебе! На, на — ешь! Рисовальщик тоже! Я тебе рожу-то так разрисую! Выходи на левую!

Забродила Федькина кровь. Руки свинцом налилися.

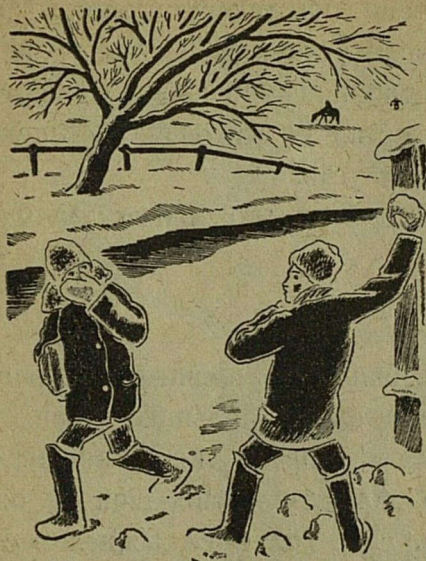
— Брось, говорю. А то смажу.

— Смазал один такой. Эх, ты, Хромцо!

— А ты что кидаешь, гадюка ядовитая!

— Ты задаваться! Вот тебе „гадюка“! — и меткий снежок сшиб шапку.

— Ты так! — ринулся Федька. Только замахнулся и от пинка в живот полетел в



сугроб. Когда встал, холодные струйки бежали за пазуху. Стало обидно и холодно.

Хромой бес
пошел в лес...

звенел Колька издали. — Э!.. Попало, попало!..

„Что я им сделал? — думал Федька с горечью“. Посмотрел на свою кривую правую ногу и вдруг липкая жалость к самому себе стиснула горло:

„Урод... Урод. И жизнь твоя, — как говорила мать, — ни в копейку!“

Из степи, из далеких концов ползли серые, мгlistые сумерки. Сизые тучи нависли и грузно тащились по небу. Окрепший ветер больно хлестал по зардевшимся щекам. День потускнел и угас.

А может быть это только для Федьки?

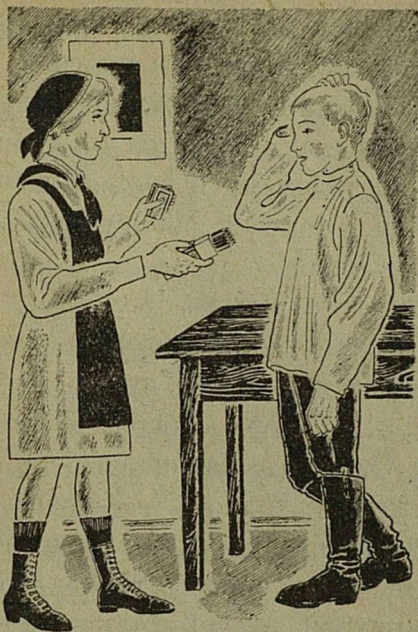
3

В сумерки Зина пришла. Быстрая и звонкая, в оснеженных больших валенках, с зардевшимся на морозе лицом, она сразу внесла в тесную комнату беспорядок и оживление. И оттого, что голос ее звенел несдержанно и бойко, комната стала как-будто меньше, неуютнее. Мать за стенкой в кухне хлюпала бельем в корыте, и в душном воздухе тяжело пахло щелоком и паром.

Потупился Федька. Робость какая-то в сердце запала. Мычал да улыбался растерянно. Уж больно непривычно было! Сроду никто не заходил, а тут ведь, поди-ты!

— А я в клубе на сборе была и вспомнила, — к тебе обещалась зайти. А что я

тебе принесла? Угадай-ка! — тараторила Зина. — Ну, угадай!



— Не знаю! — мотнул головой Федька. А любопытство щекотало все-таки. — Ну-ка, покажи!

Зина таинственно отвернулась, что-то осторожно вынула из-под передника, и плотно зажав в кулак это любопытное „что-то“, еще раз сказала:

— Не угадаешь значит? Нет? — и торжественно протянула разжатую ладонь. — Это я тебе. Отец мне их еще давно подарил, а мне все равно не нужно.

Дюжина карандашей в плотной красивой обертке заманчиво высунулась пестрыми цветами. Федька даже вспотел от удовольствия. Давно уж к таким же в кооперативе приглядывался. Да, куда тут! Матери раз заикнулся, та только зыкнула:

— Ишь чего выдумал!

А теперь вот они... новенькие все.

— Тебе самой может нужно. Не надо.

— Бери! Говорю, бери! — великодушно протянула Зина. — А как нарисуешь, мне первой покажешь. Ладно? А у нас в отряде и краски даже есть. Только ими рисовать-то по настоящему никто не умеет. Зря больше портят. Ты приходи когда-нибудь к нам. А?

— Ну, вас! Ребята драться будут. Я с Колькой Шилкой сегодня соткнулся разок, из училища когда шли. Начал снежками бросаться. Хотел я ему, а он и убежал, — хвастнул чуть Федька.

— Там не будут. Вожатый не даст.

— Все равно. Я не пионер.

— Ну-к, что ж,—запишешься!

Хотел сказать: „А как же хромой-то я!“, да вопрос поперек горла встал и щеки в стыдливом румянце зарделися. „Ишь она какая быстроногая, веселая. Хорошо ей! — думалось с горечью Федьке, — а меня и в отряд-то не примут небось! Потом сама смеяться будет надо мною“. — Даже отодвинулся чуть от нее. Почувствовал, что какая-то стенка встала между нею и им.

— Что ты насупился, Федь?

— Я ничего!.. Так.

— А я подумала на меня! Ты не сердись. Знаешь, ты мне больше всех мальчишек нравишься. Они все хвастунишки какие-то драчливые. Мы всегда водиться с тобой будем. Ладно? Приходи ко мне завтра! У меня картинки какие интересные есть!

Она смотрела на Федьку спокойно и ласково, будто просила о чем. И от этого так захотелось ему рассказать какими-то новыми, хорошими словами о своем горе и дружбе к ней. Но пришел отец всегда молчаливый и сумрачный, и Зина ушла.

На прощанье шепнула украдкой:

— Приходи к нам обязательно! Слышишь

Зина ушла, а на столе осталась радость другая: в пестрой красивой обложке — цветные карандаши.

4

Дни зимние короткие. Скупа на солнце злая старуха зима. Чуть за полдень, — сумерки над снежной безлюдной степью раскинут серое крыло. Ходит зима с мятелями, выюгами. В каждую трубу зло хохочет. И у Федьки зима прошла, как длинная серая пряжа. Только и узоров в ней, когда долгими вечерами за скрипучим столом дома рисует. Только в этом и отдыха, только тогда и забывает хромоту свою.

Часто сокрушалось сердце матери. Все один да один сидит дома за книжками да тетрадами. Иные ребята теперь небось все заборы обшаркали.

— Ты бы гулять-то сходил! Все сидит как муха сонная.

— Не хочу, мам!

Чуяло сердце ее Федькину грусть. Иногда и вздыхала тайком. Малый-то какой старательный, хороший, а урод! И зовет-то по чудному как. Здесь на поселке с испокон

веков так заведено: младшие — „мамка“, а старшие — „мать“. А тут, ведь, подишь ты! — „ма-ма“, — словно больной или умирать собирается.

Эх, и тяжелая, трудная жизнь была прежде! Вместе с мужем на фабрике работала. В долгом, упорном труде хлеб доставался для маленького Федьки. Да видно люди-то чужие не сумели доглядеть, — сами в таком же котле нужды и заботы варились, — упал Федька, ногу сломал — и урод.

И теперь часто, часто, как идет мимо яслей или детского дома, думает скорбно:

„Вот бы когда тебе, Федька, родиться-то. Эх!..“

А время шло, тянулось, как серая пряжа. На застрехах талых показалась робкая капель, и на следах весны — проталинах подснежники робко бутонились, вылезала из черной, набухшей земли первая бледная трава.

Зазеленели озими. Зазвенели малиновой трелью невидимые в глуби неба жаворонки. Ожило все в природе, заторопилось в труде напряженном и радостном.

Вот и пионеры выехали в лагерь. Раскинули полотняные белые палатки по пестрому

от цветов берегу узкой степной речки. Эх, и веселая жизнь потекла, вольготная! Неба-то, неба-то сколько просторного! Всей силой легких не перекричать степную ширь. По утрам, росным и радостным, тело, как жгут, крепкое и бодрое. И чего только ребята ни выкидывали от нахлынувшей до краев радости!

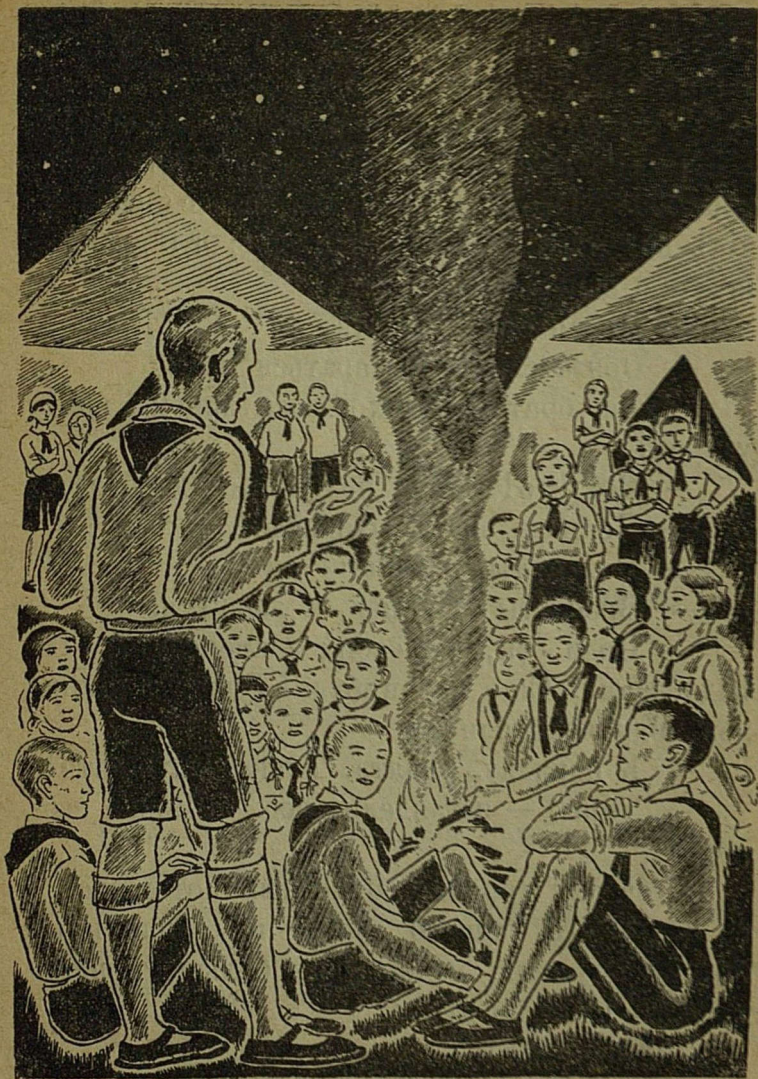
— Эх, в футбол бы теперь!

И верно. Кажется, мяч бы в лепешку разбили. Крепко жалели, что вожатый не вел играть.

А по вечерам, когда с востока тянуло прохладой, и южное небо усеется крупными сочными звездами,— разводили костер, усаживались вокруг потеснее, слушали интересные рассказы вожатого или пели зазорные звонкие песни. И тогда далеко, далеко в глубокую жуткую тень уносилось

Мой па-ро-воз вперед ле-ти-и,
в ком му-у-не остано-ка,
ино-го нет у нас пу-ти-и,
в ру-ках у нас вин-тов-ка.

Пятнадцатое июня — торжественный день для отряда, — юбилей ячейки Комсомола. Ой,



сколько горячих пионерских голов и сердец сокрушалось втайне о своем возрасте!

— Скорей бы в Комсомол, на фабрику!

И ребята с жаром за неделю начали готовиться. Спорили, кричали на собраниях, чуть не до драки дело доходило: что преподнести в день юбилея.

— Подтянемся, ребята.

— Обязательно постараться надо.

— Да, братцы, плохо, если лицом в грязь ударим.

— Вот что! Знамя поднести надо будет.

— Не надо знамя. Не надо!

— Молчи ты, раскосый шут!

— Брось ты! Пионер, а лаешься.

— Поди ты, со своим знаменем-то. Не надо знамя. Еще что-нибудь! Знамя в прошлом году поднесли им.

— К порядку, ребята. Тише! Слушайте!

— Тише, — загладели все. — Зинка говорит.

А сверху горячий солнечный поток льется из глубокого синего неба на обнаженные бронзовые тела, отчего еще больше хочется кричать и бесноваться.

Зинка начала:

— Вот что, ребята. Нам лучше всего будет, если преподнесем портрет Владимира Ильича с надписью.

— А деньги где?

— В клубе возьмем.

— Шиш в клубе-то выпросишь.

— Дадут! На это дадут! — уверяла Зина. — А не дадут, так сами соберем.

— Не надо покупать! Купить всякий дурак сможет. Нарисовать обязательно надо, — крикнул Колька.

— Ох!.. ха... ха... ха... — загрохотали многие. — А рисовать-то ты что ль будешь!

— А что ж, не нарисую, думаешь? — уперся Колька.

— Отчаливай!

— Ищи дураков!

— Давай на спор, хоч?

— Нарисуешь по саже углем.

Долго шумели. В такой раж вошли, — на силу вожатый уgomонил:

— Эх, вы! Словно и не пионеры, а так шпана оголтелая.

— Не оголтелая, а голотелая, — сострил кто-то.

Немного еще покричали и единогласно вынесли:

1. С приветственным словом выступит от имени 1-го отряда „Розы Люксембург“ Лиза Котова.

2. Спортивное выступление всего отряда.

3. Поздравительный адрес напишет и рисует Коля Шилкин.

На этом и покончили.

На другой день с утра Колька вооружился карандашом и красками. От старания кончик языка сбоку высунул и носом шмыгал так, словно весь его втянуть и проглотить собирался. Зина подошла, — так и покатила со смеха.

Обиделся Колька.

— Чего ты смеешься-то?

— Ох, подожди! — присела на землю Зина. — Что ты там сбоку-то нарисовал?

— А тебе что! Ленина.

— Ха!.. ха... ха... Ой, не могу!.. Уморил Истинный кувшинчик, уморил!

На смех все собрались. Как взглянули, — девчонки даже взвизнули от удовольствия:

— Вот так Ленин! Нос стручком, а голова крючком. На человека и то не похож.

— Эх, Колька, Колька! — сокрушались другие. — Зачем же это Ленина ты здесь нарисовал?

— А чего же! — огрызался в смущении Колька.

— Так чем-нибудь разрисовал бы! Не умеешь, а берешься тоже. Эх, ты!..

— Вот Федька Хромцо, — это да!..

— Верно, ребята! Как тогда он в классе-то загнул!

— Федьку попросить, — пусть нарисует.

— Он не пионер.

— Ну, так что же?

— Правильно! Давайте Федьку попросим.

— Он не станет. Не пойдет сюда.

— Не пойдет, — снесем.

— Правильно! Ладно, ребята. Давайте, я ему завтра сама отнесу, — предложила Зина.

Все согласились.

— Валяй!

Зато целый день все слегка подтрунивали над смущенным неудачником Колькой.

5

— Тетя Поль, Федя дома?

Мать Федькина — сухая и угрюмая. Отец вчера пьяный пришел. Приставал, скандалил, —

денег все просил. Не дала. И так все гроши на учете. Чашку разбил и Федьке подзатыльников со злобы надавал. Много слов обидных и горьких в эту ночь от долгой беспросветной жизни у ней накопилось. Иные по собраниям да в клубы там разные ходят, а тут все та же кабала беспросветная. Все люди как люди, а тут и ребята какие-то забитые. Федька день ото дня все молчаливее становится, словно от порчи какой. Посмотрела на Зинку, — материнская зависть в груди шевельнулася. Ишь какая бойкая да с красным галстухом!

— Вон на сундуке там. Спит еще!

Федька вскочил от щекотания пяток, заспанный. Прищурил глаза от яркого солнечного снопа в окне. Будто сон, не явь. Где-то в глуби смутные обрывки вчера пережитого, а тут в солнечном потоке лицо Зинкино ясно улыбается.

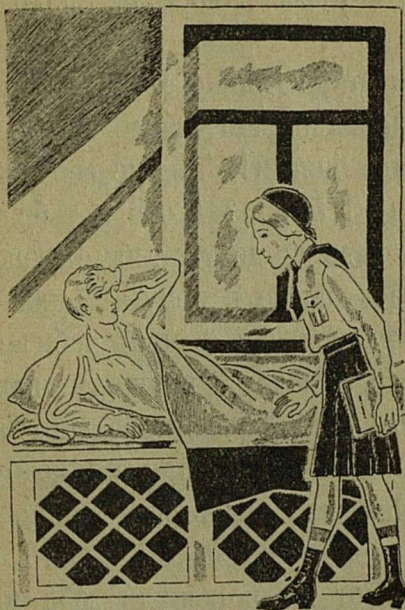
— Вставай, тетеря. Ну, и соня же ты! Ишь разоспался, — теребила его Зина. — Вставай!..

— Я сейчас, сейчас, — заторопился бес толково Федька.

— Ну, ты одевайся, я во дворе подожду. Поскорей только!

Минут через десять Федька вышел к ней умытый и причесанный. Сели под навесом, где густой ивняк по канаве разросся.

— Я к тебе, Федь, по делу, — начала



серьезно Зина. — Прежде всего скажи, почему в отряде у нас не состоишь. А?

Потутился Федька. Молчал. Только прутик в руках меж пальцев быстрее запрыгал.

А Зина пристала, — скажи!

— Не примут меня, — с трудом выдавил Федька.

— Почему же не примут? Примут.

— А нога-то!

Сказал и глаза заморгали жалко и беспомощно.

Стыдно стало Зинке. Поняла, какую боль у него вопросами растревожила.

— Федя, милый! Ты не сердись. Дура соломённая я! Ладно? А что я тебе расскажу сейчас! Я ведь по делу к тебе. Слушай-ка! — придвинулась ближе к нему. — У нас пионеры решили комсомольцам в день юбилея-то ихнего адрес, значит, написать по красивей. Все, как следует. А разрисовать-то и некому. Колька Шилкин вызвался, — только бумагу испортил. Намазал, намазал, — прямо страсть! Со смеху умереть можно было. Это, говорит, Ленин. Ну, вот мы и решили тебя попросить. А когда я вызвалась сходить к тебе, вожатый мне и говорит: ты узнай, почему он к нам не запишется, ведь парень хороший, как будто бы. Слышишь? Так и сказал! Ты напиши заявление, — я отнесу. Ладно, Федь? Хорошо? И адрес разрисуешь нам.

— Я не знаю, — замешкался Федя.

— Мы и бумаги и красок дадим.

— Не умею я, как писать-то!

— Сумеешь. Что написать — мы составили. Только разрисовать покрасивей надо. Нарисуешь, значит?

— Ладно. Попробую...

— Вот и хорошо! — обрадовалась Зина. — Я сейчас схожу за бумагой и красками, а ты тут заявление напишешь, да? Я сегодня его и отдам.

Зинка ушла. А Федька еще долго лежал и смотрел сквозь густую зелень ивняка на глубокое синее небо с редким налетом легких перистых облаков. Чуть слышно шептались листья, скандалили где-то бойко воробьи. День был прозрачный и тихий...

— Неужели примут?..

Радостно торкались мысли, и большая неуклонная сила, пугливо дремавшая прежде, вдруг потянула его быть нераздельно с другими, быть таким же, как все ребята, участвовать вместе с ними в большой, пока еще смутной, неясной, но важной и радостной работе.

— Неужели примут?..

Шептались листья, плавилось жгучее солнце, и бодрая радость вырастала и крепла в груди.

Только к вечеру, когда отец с завода пришел, заканчивал усталый Федька адрес. На плотной слоновой бумаге вокруг текста затейливыми вензелями рамка раскинулась. А внизу под большим пионерским значком красивыми буквами было выведено четко:

*Крепись, Комсомол! На каждый твой зов
мы ответим: всегда готов!*

Отец, присмиривший, стыдившийся втайне вчерашнего буянства, ласково потрепал его по плечу:

— Ишь ведь, как тебя угораздило. Ловко! Молодец! — И обещался в получку на краски целковый дать.

6

В день юбилея клуб был битком набит зрителями. Даже все подоконники увешали. Выступали все кружки и ставили целую пьесу.

Выступил и Федька. И на его долю выпало стихотворение прочесть. Как вышел на сцену к рампе так сробел, что ноги подкашиваются. Щеки, как галстух пунцовый, зарделись. Начал говорить, — дыхание сперло. Голос дрожит и не слушается. Насилу



доплелся до конца и смешно, как-то боком, ушел.

— Молодец, Федь! — шепнула ему Зина за кулисами. В коротенькой синей, складками, юбке, с таким же большим красным галстуком, как у него, она стала роднее и ближе.

— Я ничего, — перевел дыхание Федька и поправил смущенно значек.

Вспомнил, как с нарисованным адресом встретили в лагере его. Только Колька и крикнул, как увидел:

— Э!.. Хромцо! Хромой барин идет, — да другие ребята оборвали:

— Молчи уж, мазилка хвастливая.

— Здорово, Федь! Шут тебя знает, как это ловко у тебя получается, — похвалил вожатый.

И в тот же день обсуждался вопрос: о принятии в отряд Феди Кокурина.

Постановили: принять единогласно. Только некоторые спрашивали с любопытством:

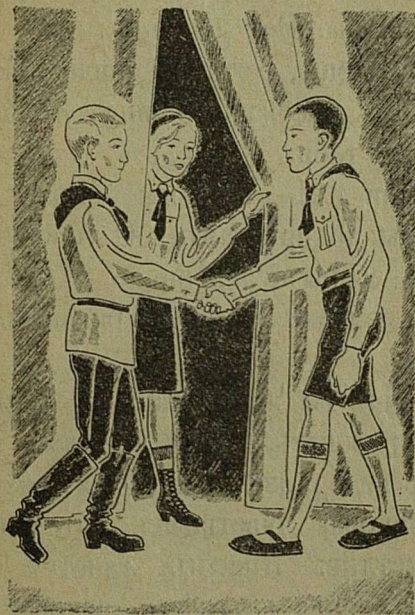
— А как же хромой-то он?

— Ничего! Каждому дело найдется.

За кулисами, из уборной и в уборную, бежали взволнованно намазанные драмкружковцы, торопились. Скоро начинать! При

выходе с Колькой столкнулся. Дрогнуло сердце.

„Что ж я не такой, как он, что ли! Попробуй, тронь“!



— Ты что ошетинился?

Федька молчал.

— Брось, говорю! Давай руку-то.

— Зачем?

— Давай, говорю, — наступал на него Колька с напускной суровостью. — Слышишь,

что ль? Теперь все одно. В одном звене небось стоять-то будем.

Первый шаг к дружбе сделан был. Неловко, но крепко пожали друг другу руки. Зинка встретила их и улыбнулась:

— Молодцы. Вот давно бы так.

— Ты знаешь, — откровенничал Колька, — я ведь тоже рисовать-то могу, только чуть-чуть похуже тебя.

— Молчи уж! — вставила Зинка.


— А ты не приставай! С тобой не говорят ведь, — огрызнулся он.

— Мы вместе с тобой рисовать будем, ладно?

— Ладно! Ты мне обязательно Ленина покажи, как рисовать, а зайцев и звезду я умею.

В этот вечер, когда ложился спать, первый раз Федька чувствовал, что вполне, до краев счастлив. Красный галстух бережно висел у изголовья на гвозде. Спроси его, — что еще надо и скажет, пожалуй, — ничего! Разве только плотной бумажки чуть-чуть, да красок немножечко.

А ночью снилось, что он председатель и говорит огромному залу большущую речь.



СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Коськин день	3
Хромцо	17

25 К.
P

100 =

